



Размышления в канун юбилея

НАШ СОВРЕМЕННИК ЧЕХОВ

НЕСОМНЕННО, Чехов самый близкий нам из русских писателей-классиков. Минуты, что и хронологически он был последним в великой когорте. А между тем, Чехов ушел в самом начале века, его пережил Лев Толстой, не говоря уже о Бунине, последний умер после второй мировой войны, стало быть, видел те же небеса, что и мы, ныне живущие.

Как несхожи во всем эти величайшие русские рассказчики! Прежде всего стилистически, что главное, ибо, если говорят: человек — это стиль, то в отношении писателя подобное утверждение справедливо вдвойне. Чехов работает на детали, подробности, Бунин — описателем, он не пытается дать целое через часть, а по возможности полно изображает это целое. Чехов предельно лаконичен, Бунин щедро многословен. Чехов устремлен к человеку, Бунин — к пейзажу, и человек его всегда выходит из глубины пейзажа — сельского или городского. В рассказе Чехова — россыпь характеров, многие из которых стали типами: унтер Пришибеев, человек в футляре, ученый сосед, Ионыч, Душечка, Печенег, Мисюся, вся семья Цыбукиных, Ванька Жуков, даже... Каштанка. У Бунина другое: чаще всего он берет некий тип, скажем, мелкого помещика, уездной барышни, кулака, молодого офицера, доброго крестьянина или деревенского лоботряса и разгрызает с ними вечные темы любви, смерти, разлуки, и все это в густейшем вещном замесе. Любопытно, что даже Лика из одноименной повести, написанной воистину божественными словами, лишена характера, это просто очаровательное существо той поры русской жизни, когда окончательно развалились дворянские гнезда. В Лиду трудно влюбиться; смакуя бунинское слово, достигшее в этой повести небывалой красоты и выразительности, вы влюбляетесь в саму любовь, в молодость, в вечное женственное, в неслыханную прелесть мироздания. А вот Анна Сергеевна, — таково нарочито обыденное имя дамы с собачкой, — наделена ароматом неповторимой личности, это не просто прекрасная, добрая, лю-

бящая женщина, это характер, овеянный пленительной женственностью, и каждый читатель разделяет чувство Гурова.

Как говорил Блез Паскаль, человеку по-настоящему интересен только человек. Вот в чем неоспоримое преимущество Чехова перед Буниным. Словесная живопись Бунина, на мой взгляд, богаче, он куда лучше знает природу, да и весь вещный мир, никогда не совершит такой промахи, будто существуют помещичьи вишневые сады, он чувственнее ощущает бытие, а это крайне важно для художника, и все же для человека всего интереснее человек. А разве вы вспомните хоть одного из сонма бунинских персонажей с таким родственным сочувствием, как старого профессора из «Скудной истории», с такой щемящей нежностью, как Мисюся, или старушку мать архиепископа? Да, Бунин вылавливал в гуще народной яркие и причудливые типы, да, от его девушек и молодых женщин веет печальным очарованием, но все они остаются на периферии читательской души, а бедная, прекрасная и обреченная Маруся Приклонская («Цветы запоздалые») врывается в сердце.

К формуле Паскаля следует добавить замечательное рассуждение Анатоля Франса, по какому признаку можно определить великого писателя. Поочередно рассматривает он такие критерии, как владение формой, умение создавать интересные и разнообразные характеры, красота языка, занимательность сюжета, и на примере писателей, чье величие общепризнанно, доказывает несостоятельность всех этих критериев. И все-таки Франс находит ответ: любовь к людям — вот что создает великого писателя. Казалось бы, и это рассуждение можно опровергнуть примером Байрона, любившего только самого себя и воссоздавшего в своих поэмах и трагедиях лишь собственный характер, но загадка Байрона в том и состоит, что в себе он любил все человечество, что и доказал жертвенной смертью.

Иван Алексеевич Бунин охотно использовал форму от первого лица, и это не было только приемом: «я» его расска-

Юрий НАГИБИН

зов и повестей идентично авторскому «я». Чехов никогда не пользуется приемом от первого лица по-бунински, его «я» условно, сам он не присутствует в своих рассказах, такой полной самоустраненности не встретишь, пожалуй, ни у одного новеллиста. Ведь у рассказчика очень многое идет от сиюминутного впечатления собственной жизни, и так удобно писать об этом от собственного лица. Чехов этим удобством пренебрегает. Прежде всего от врожденной стыдливости, литературного целомудрия, не позволяющего ему выходить на суд людской со своими болячками, неприятностями, дурным настроением, мутной игрой страстей. Он изображал кипящую вокруг него жизнь, но не втискивался между нею и читателем. Он доводил свою щепетильность до аскезы, утверждая, что писатель должен брать за перо в состоянии полного покоя, даже холода. Конечно, самообладание необходимо художнику, иначе его рука, подчиняясь чистой эмоции, выйдет из повиновения, и все же высказывание Чехова странно в его устах. Возвращаясь к нашей антитезе: вот Бунин, тот, воистину, холоден, когда пишет не о себе самом. Разве есть в нем любовь к нечастному подростку Мите, так дорого оплатившему свою первую любовь («Митина любовь»), или к Захару Воробьеву из одноименного рассказа, или к корнету Елагину («Дело корнета Елагина»)? Нет, он остро, пронизательно, даже вездельно наблюдает этих людей, дает обстоятельную, выписанную до последней подробности картину их поведения, но в этом «физиологически» точном письме чувствуется внутренний холод. А вот любит он того горячий юной красоты юношу, каким был некогда сам.

И удивительно теплой жизнью пронизаны все чеховские образы. Как рождается нежный жар жизни из полного творческого спокойствия, равно быющего сердца и остуженного ума — неразрешимая загадка. Лев Толстой плакал, читая «Душечку», а ведь образ милой

женщины, умевшей смотреть на окружающее лишь глазами своих мужей, — сатирический образ. Пустота черепной коробки Душечки, заполняющейся чужими готовыми мнениями и сообщениями, страшновата. И вместе с тем есть тут что-то бесмертно женственное, что пленяет в гротескной фигуре и выжимает слезы из жестких глаз старого Толстого.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ Чехова подыала его не только над таким писателем, как Иван Бунин, вооруженным самым совершенным художественным аппаратом в русской, а стало быть, и в мировой литературе, но и над всеми его современниками, поставив в один ряд с Достоевским и Толстым.

Чехов был необычайно высоко ценим при жизни, особенно когда Художественный театр сумел прочесть его драматургию. Н. С. Лесков, человек суровый и мало снисходительный к коллегам, сетовал, почему в газетах пишут о приезде в город какого-нибудь тайного советника и не пишут о приезде Чехова. Лесков писал это, когда Чехов был еще очень молод и лишь недавно расстался с маской весельчака Антоши Чехонте. Известно, как высоко ценили Чехова Л. Толстой, М. Горький, тот же Бунин, а первым догадался о масштабах чеховского дарования патриарх русской литературы Д. Григорович, заклиная его беречь свой талант и не расходовать на «срочную» работу. Поразителен ответ Чехова: «Если у меня есть дар, который следует уважать, то клянусь чистотой Вашего сердца, я доселе не уважал его». Чехов был искренен, когда писал это, он был искренен, когда, благоговей перед Толстым, ощущая свою малость рядом с ним, всерьез мучился, какие надеть брюки для визита к великому старцу. И вместе с тем Чехов куда раньше своих современников понял, чего он сам стоит. Даже пламенным его почитателям не приходило в голову ставить его на одну доску с Тургеневым, Гончаровым, не говоря уже о Толстом. А Чехова не смущала ни тень Тургенева, ни дряхлеющее грозное бытие Толстого. Он никогда не го-

ворил об этом впрямую, но он проговаривался сознанием своего равенства.

Чехов не выносил, когда его называли певцом российских сумерек и маленьких серых людей, он-то знал, что его песня совсем не о том, что она звучна, широка и переливчата, как сама Россия.

Достаточно вспомнить один только рассказ «Воры», чтобы начисто отмести представление о Чехове как о певце серой жизни. И суть тут не в образе огневого конокрада Мерики, написанного с буйной коровинской яркостью, а в жалком фельдшере Ергунове, который, опалившись пьяной, ножевой, угарной ночью в воровском притоне, сбрасывает вериги «порядочности». Чехов приветствует это вольное, бунтарское, проснувшееся в Ергунове; для него лучше любой бунт, чем мертвящий покой обывательщины, серая скука мещанского благополучия. То, что для другого писателя было бы падением Ергунова, для Чехова — пробуждение. Но этот рассказ как-то не замечали, он не укладывался в представление о певце сумеречной России.

А как предвзятно читался другой замечательный рассказ Чехова — «В овраге». В нем видели призыв к смирению, непротизлеченчеству. Кроткая, безответная, горестная Липа — ее ребенка умертвила хищница Аксинья — в конце рассказа угодает кушом пирога с кашей бывшего свекра, старика Цыбукина, в страшном доме которого свершилась трагедия ее жизни. Но если смыть пелену с глаз, то увидишь совсем иной смысл рассказа: не умилительна, а страшна Липа в безмерности своего смирения перед злом, в безнадежном рабстве духа. Этот смысл подсказан и эмоциональной окраской концовки, да иначе и быть не могло: всю жизнь Чехов настойчиво призывал «выдавливать из себя по капле раба».

Не только известная предвзятость, но и «дробность» формы мешала даже самым умным современникам Чехова до конца постигнуть грандиозность его цели. Чехов в «малой прозе» (его творчеством опровергнут уничижительный оттенок этого

термина) решил ту же исполинскую задачу, что Бальзак в «Человеческой комедии». В россыпи его рассказов дана не менее исчерпывающая картина жизни, чем в монументальной литературной форме.

Вот какой подвиг совершил худой, длинный, смертельно больной человек, выхаркивающий в носовой платок свои легкие. Он воистину был богатырем духа. Вспомним хотя бы о его поездке на Сахалин, мучительной даже для здорового, крепкого человека. Никто не гнал его по страшному отечественному бездорожью, через непомерные то снежные, то потонувшие в вешнем разливе пространства на последний край земли, кроме собственной художнической совести, требовавшей сказать свое слово и о самых несчастных России. Без них был бы не полон русский народ, который весь вошел в чеховскую энциклопедию порубежья двух веков.

Всеохватность Чехова поражает. Но не менее поражает жизненность и живучесть его героев, над которыми не властно время. Почему нам так близки его мужики, сотские, унтеры, приказчики, мелкие и крупные чиновники, ведь все эти персонажи давно сошли со сцены жизни? А уж о его интеллигентах — писателях, ученых, студентах, мечтателях, о прекрасных, грустных женщинах, о детях можно сказать прямо: они из нашей плоти, наших дум, нашей боли. Чехов был очень социален, он никогда не изображал человека вообще, рассчитанного на любое время, как это делал порой, скажем, Леонид Андреев, нет, каждый его герой прочно заложен в ячею своей эпохи, но есть в нем и что-то надвременное, корнящееся не только в общественном положении, но и в извечной тайне человека, делающей его неисчерпаемым. Вот почему они так свободно входят в наши дни, войдут и в грядущее — не как старинные портреты, а как живые к живым.

И в этом превосходство чеховского — этического отношения к действительности над бунинским — эстетическим.

ПУСТЬ запоздало, но следует объяснить, почему в размышлениях о Чехове оказалось столь много Бунина. Мне вовсе не хотелось сравнивать величайших русских рассказчиков, но громада Чехова так завалена словами, что к ней не про-

биться, и надо найти какой-то угол зрения, чтобы не захлебнуться в общих, отработанных словах. Бунин дает такой угол.

А кроме того, антитеза Чехов — Бунин существует в нашей литературе. До шестидесятых в новеллистике безраздельно господствовал Чехов. Все рассказчики, кроме до конца самобытного Андрея Платонова, в той или иной степени зависели от Чехова. В шестидесятые годы вновь прогремел Бунин, он сразу покориł многих и многих не только в цехе малой прозы. Все «деревенщичество», за исключением Василия Шукшина, предпочли описательную манеру Бунина. И, как обычно бывает с приходом нового кумира, словно поблек прежний. Но миновали десятилетия, и надо прямо сказать: той жажды, которую утолял Чехов, великому пейзажисту и кудеснику слова Бунину утолить не удалось. Ибо, протяни руку к Чехову, ты коснешься человека, протяни руку к Бунину, ты коснешься цветка, дерева, кружева, серяги, нежной дворянской или грубой мужицкой кожи, ты коснешься некой вещественности, части бытия, что всегда меньше Человека.

И как же поражает цифра 125! Век с четвертью назад в Таганроге увидел свет младенец, нареченный Антоном. Как это далеко, еще при крепостном строе. Не было ни электричества, ни таблицы Менделеева, поэт пушкинской эпохи Тютчев еще не написал своих самых пронзительных стихов, еще не появились «Отцы и дети», «Записки из Мертвого дома» и «Братья Карамазовы», «Война и мир» и «Анна Каренина», еще рыдала семиструнная гитара Аполлона Григорьева, Некрасов пел о страданиях мужика, а Фет о медленных майских зорях. Да, как это все далеко, а Чехов — наш современник. Он в нашем дне. Это чувство настолько сильно и естественно, что недавно в Мелихове я поймал себя на том, что поеживаюсь, как человек, забывший без спроса в чужой дом, когда хозяин на минуту отлучился. Эффект его присутствия, пользуюсь современной терминологией, был до жути реален. А несколько лет назад в городе Миннеаполисе улицы пестрели афишами: «Иванов», «Дядя Ваня», словно в бывшем Камергерском переулке... Вот как нужен сегодня повсеместно наш земляк!